

Михаил Петрович Арцыбашев

Сказка старого прокурора



Михаил Петрович Арцыбашев

Сказка старого прокурора

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2849015

Аннотация

«Вечер был холодный, уже совсем осенний. Над поредевшими деревьями сада и черными крышами сараев остро блеснул тоненький синий месяц, и в холодном небе блеск его был тревожен и загадочен. Молча смотрел он на черную неподвижную землю, в которой не чудилось живой жизни, и что-то видел, что-то понимал, чего никогда не узнать и не понять людям. Так над огромной черной могилой ночью встает таинственный синий огонек и тихо стоит над поникшими травами, молчаливо грустя над чьей-то неисповедимой судьбой...»

Михаил Петрович Арцыбашев

Сказка старого прокурора

Вечер был холодный, уже совсем осенний. Над поредевшими деревьями сада и черными крышами сараев остро блеснул тоненький синий месяц, и в холодном небе блеск его был тревожен и загадочен. Молча смотрел он на черную неподвижную землю, в которой не чудилось живой жизни, и что-то видел, что-то понимал, чего никогда не узнать и не понять людям. Так над огромной черной могилой ночью встанет таинственный синий огонек и тихо стоит над поникшими травами, молчаливо грустя над чьей-то неисповедимой судьбой.

На балконе старого барского дома одиноко горела свеча в стеклянном колпаке, и толстая с короткими пальцами рука бывшего прокурора неприятно ползала по залитой красным вином скатерти, посреди грязных тарелок и стаканов, бросая черную паучью тень.

Старый прокурор давно жил в этой забытой усадьбе вымерших бар. Он совсем опустился, опился, обрюзг, и его огромная косматая голова напоминала угрюмую морду старого медведя, издыхающего где-нибудь в лесной глуши, никому не нужного, злого и одинокого.

И голос у него был такой глухой, как будто говорить ему давно не приходилось, а слушать нужно было только разве уханье выпи над болотом. Только порой, когда он раздражался, в толстом горле его что-то злобно взвизгивало.

– Так-то, мой дорогой друг! – говорил он молоденькому франтоватому следователю Веригину, поневоле заехавшему к нему дорогой с одного дальнего следствия на другое. – Это только так принято думать... потому что удобней... будто вся беда происходит от несовершенства суда и правовых отношений. А на самом деле причина лежит гораздо глубже... Нет такой формы возмездия, которая не таила бы в себе прямой или косвенной, но непременно самой варварской, глупой и жестокой несправедливости. Я, знаете, пришел к тому заключению, что если есть вообще форма возмездия, которой можно отдать предпочтение хотя бы в силу ее внутреннего смысла, то это только – форма личного возмездия... Да, дорогой мой!.. Это так, и вольтерьянцы напрасно ропщут. Грустно, но факт! Печально, но естественно!.. Да!.. Дайте-ка мне бутылочку, мой друг, я выпью. Холодно уже становится... Ранняя в этом году осень. И не запомню.

– Послушайте, Кирилл Кириллович! – возмущенно крикнул Веригин. – Ведь это же черт знает, какая бессмыслица, о чем вы говорите!.. Отдаете ли вы себе отчет?.. Ведь это же варварство, самосуд, закон Линча!

Старый прокурор отяжелевшим взглядом пьяного человека посмотрел на своего гостя и уродливо искривил губы.

– Птенчик вы мой зеленый! – вдруг с неожиданной злостью сказал он. – А почему вы знаете: может быть, закон Линча и есть та идеальная, единственно разумная форма правосудия, вокруг и около которой человечество будет ходить вечно и на которую так-таки и не набредет никогда. Может быть, потому, что мужества не хватает, а может быть... Впрочем, если бы и набрело, то от этого только еще большая беда вышла бы!

Старый прокурор замолчал и стал тянуть вино, вытянув толстую нижнюю губу. Крупные, красные, как кровь, капли тяжело падали на его нечистый парусиновый жилет и расплывались мутными пятнами; а дряблое толстое горло набухло и спадало, как будто в нем двигалось что-то круглое и живое.

– Если вам так нравится закон Линча, то почему же вы думаете, что от него еще большая беда произошла бы?.. Казалось бы – наоборот! – с усиленной иронией произнес следователь.

– Разве мне закон Линча нравится? – удивился прокурор, как будто бы не совсем искренно. – Мне ровно ничего не нравится!.. Отдаю предпочтение, друг мой... отдаю предпочтение, а не нравится... В этом глубокая разница!.. Прошу заметить. А беда произошла бы вот почему: огромное большинство людей живет только потому, что права личного возмездия не существует в современном строе. Да вряд ли когда-нибудь в чистом виде и существовало!.. Вообразите, что

произошло бы, если бы каждому человеку надо было бы это право!.. Ведь на всем земном шаре, дай Бог, чтобы нашлось две сотни человек, которых бы никто не тронул, как людей действительно не вредных, не подлых, не сделавших во всей жизни ни одного преступления... или по крайней мере не мешающих жить другим!..

– Что вы говорите! – махнул рукой Веригин. – Это парадокс!

– Нет, это не парадокс, а справедливость!.. Ну, попробуйте из среды известных вам людей припомнить, для опыта, хоть полдесятка таких, о которых вы с уверенностью и полной искренностью, положив руку на сердце, могли бы сказать: да, им жить можно и стоит, ибо они не сидят на чужой шее, ибо из-за них так или иначе не гибнут человеческие жизни, ибо ничего они не отнимают, никому не мешают и жизнь их совершенно лишена сомнительных пятен!.. Будем так говорить: ведь такие люди, по справедливости, достойны были бы рая Господня! Ибо, по старому верованию, эти безгрешники были бы праведниками и святыми. Только на пороге рая, святости прекращается грех, а что по сю сторону порога, то так или иначе достойно кары. А? Не правду я говорю?

Веригин с досадой смотрел на старого прокурора, не мог понять, шутит он или говорит серьезно, но инстинктивно чувствовал в его словах что-то обидное. И росла в нем положительная ненависть к его коротким пальцам, грязному па-

русиновому жилету и отвислому подбородку, бритому, как у старого актера, но только, очевидно, очень давно.

– Разовьем эту картину, – с открытым злорадством и насмешкой продолжал прокурор, не дождавшись ответа, – представим себе рай, настоящий рай, как он рисуется нам с детства... Этакая голубая высь, не то что сад, а так, одно сияние, свет, благоуханье, ангелы в дезабилье и так далее... И пустите вы туда мысленно всех, кого знаете... офицеров, аптекарей, попов, чиновников, гимназистов, студентов, барышень и дам... Не покажется ли это очевидной нелепостью и не станет ли нам чуточку стыдно, как будто мы и вправду совершим нечто глупое, неловкое и даже вовсе неприличное...

– Что за глупости... При чем тут рай! – сердито возразил Веригин.

– Рай только так... для образа... как символ безгрешности... место, где можно вообразить только человека без единого пятнышка...

И старый прокурор с явным и наглым цинизмом прибавил.

– И ведь признайтесь, что из всех ваших знакомых, если кого вы и можете себе представить в этом месте, идежэ несть ни болезнь, ни воздыхания, ниже пакость какая-нибудь, то это разве штук пять хорошеньких и непременно невинности не лишенных девушек!.. Так ли? Правду я говорю?..

– Послушайте...

– Нет... Ведь правда же?.. Например, Женечка Телепне-

ва?.. А?.. В этаких райских одеждах, в достаточной мере прозрачных... А?

Стало ясно, что прокурор знает о чувствах Веригина к Женечке и просто издевается над ним.

– Послушайте! – громче выкрикнул следователь, весь вспыхнув и приподнимаясь.

Но старый прокурор вдруг страшно испугался. Он встал, схватил следователя за обе руки, почти насильно усадил на стул и залепетал умоляюще:

– Ну, ну, ну... Мой дорогой, простите, не сердитесь... Я не знал... Ей-Богу, не хотел вас обидеть, и к Женечке я отношусь с величайшим уважением... Ну, не сердитесь, полно...

Веригин то краснел, то бледнел и бестолково двигал руками.

– Ну, простите, дорогой... Что, в самом деле!.. Не всякое слово в строку! Я, ей-Богу, без всякого злого умысла, а просто, когда я спорю... Ну, выпьем, мой дорогой, и не сердитесь. Будет вам дуться на старика... Ведь я старик уже и вам в дедушки гожусь!

Веригину стало неловко, что старик так лебезит, и он насупился, решив быть во всяком случае выше пьяной болтовни. К тому же лошади еще не пришли с земской станции и не идти же пешком отсюда.

Прокурор молча посмотрел на него и вдруг заговорил тем жетоном, как будто ничего и не случилось.

– О невинных девушках я упомянул, собственно, только

кстати, чтобы, знаете, намекнуть в некотором роде, что и в нас самих не без пятнышка... Хотя бы в виде этакое полового пристрастия... Но это пустяки, а суть в том, что если бы развязать руки и дать возможность привести мерку абсолютной справедливости, то пришлось бы вычеркнуть из списков чуть не все человечество поголовно. Обширное аутодафе устроилось бы... Да!

Старый прокурор поверх свечи посмотрел в темноту ночи, и глазки его блеснули такой жестокостью, что следователь с отвращением подумал: «А ты бы мог это сделать с легким сердцем!»

И уже совсем ясно почувствовав, насколько выше он этого злого, никуда не годного старикашки, совершенно успокоился.

– Да, да, – задумчиво пробормотал старый медведь, – припоминаю я всех, кого знал, а знал я, дорогой мой, чрезвычайно много самых разнообразных людей, и вижу, что нет человека, который перед лицом справедливости абсолютной совершенно был бы чист и заслуживал по крайней мере лишения всех прав состояния. В широком смысле, конечно.

– Ну, уж и не одного! – неуверенно возразил следователь и вздрогнул не то от холода, не то от представившейся ему картины.

– Да, да... – насмешливо возразил старый прокурор. – Два праведника нашлось и в Содоме, но только, будь я Господом Богом, не стал бы я ради двух праведников, хотя бы и са-

мых добротных, терпеть этак миллиардов двести, по самому скромному расчету, жившей на свете сволочи! Уж очень, знаете, очевидна несостоятельность такой, с позволения сказать, математики.

Старый прокурор замолчал, и голова его долго тряслась, а нижняя губа, толстая и бритая, отвисла чуть не до самой груди.

Молчал и Веригин и смотрел на старого человека внимательно и задумчиво.

Стало совсем тихо и холодно. Месяц уже спрятался, и только одна бриллиантовая искорка его верхнего рожка блеснула во мраке, зацепившись за черный силуэт какой-то страшной трубы.

Старый прокурор тихонько засмеялся каким-то своим мыслям и потянулся за бутылкой. Толстая, с короткими пальцами рука поползла по мокрой противной скатерти, и рядом с нею пополз черный паук – тень.

– Когда я был еще молод, – заговорил старый прокурор, – и перед самым назначением в товарищи прокурора попало мне такое дело: убили бабу и девочку, лет тринадцати, четырнадцати... Убийство с насилием и с целью грабежа... Жестокое и грязное дело. Ну, приехали мы, как водится, к ночи... Почему-то власти всегда приезжают к ночи, заметил я... Ну, приехали, собрали понятых и пошли.

Он помолчал, как бы припоминая.

– Хата, в которой произошло убийство, стояла на выгоне,

и, как оказалось, убитая баба тайно торговала вином... Приходим... Уже темно. Стражник стоит поодаль от хаты – боится. Входим. Хата как хата... потолок низкий, придавленный, в углу образа, на столе хлеб, полотенцем прикрыт, горит на окне свеча, и так как дверь отперта, а окно разбито, огонь мечется во все стороны. И ведь действительно, знаете, жутко: лежит посреди хаты, на земляном полу, ничком толстая баба в изорванной рубахе с желтыми пятками... Спина голая, жирная, точно из сала, а голова отрезана напрочь и стоит, понимаете, у ножки стола, точно мертвая баба из-под полу смотрит... Убийца, видимо, долго с нею возился: баба здоровая, сильная, а он, как потом оказалось, человек был тщедушный... Однако он ухитрился повалить ее ничком и наступил коленом в спину. Очевидно, угрожая ножом, требовал денег, а она не давала... Тогда он за волосы оттянул голову бабе назад и полоснул ножом по горлу. Шея-то толстая, жирная, сразу и не зарезал, а когда она рванулась и чуть не вырвалась, ткнул ее ножом между плеч, так что кровь до стены добрызнула... Потом, когда баба ослабела, затащил голову опять назад и стал резать. Резал долго и аккуратно и отрезал бабе живой голову... Визжала она, говорят, сначала так, что на всю деревню было слышно, а потом только икать и хрипеть начала... Мужики, конечно, побоялись идти, потому что в это время в окрестностях разбойничала целая шайка цыган, а трусливее русского мужика во всем свете никого нет... Да... А потом, зарезав бабу, убийца полез на

полати. Там сидели девчонка лет тринадцати и братишка ее, совсем семилетний клоп... И тут, видимо, накатило на него зверство... Сначала-то он просто хотел прирезать девчонку, чтобы не опознала потом, и стал тащить ее с полатей, а она начала упираться и цепляться руками... В этой борьбе как-то он и сдернул с нее все платье и даже рубаху, а как увидел голую девчонку, так и осатанел... Перед этим он в тюрьме полгода высидел и без женщины совсем изголодался... И что ж он с ней сделал, одному Богу известно!.. Живот в трех местах проткнул, горло перерезал и так сам в крови загваздался, что все стены, пол, сени, крыльцо и даже калитку перегадил... Всласть вошел человек! Видимо, захлебнулся в наслаждении!.. От девчонки только какие-то лохмотья остались... Так мы ее на полатах и нашли.

– Черт знает что такое! – сказал следователь.

– Но хуже всего было то, – продолжал старый прокурор, – что на всю эту бойню, которая продолжалась долго, смотрел с печи маленький брат девочки – Степка. Убийца и его хотел было прирезать, но, видимо, насладившись всласть девчонкой, ослаб и по-своему подобрел. Он уже взял Степку за руку и нож взял, но Степка взвыл:

– Ой, дяденька, не трожь! Ой, миленький, ой, золотой!..

Да за руку убийцу, только что зверски зарезавшего его мать и сестру, поймал и давай целовать... взасос!.. Всю мордочку в сестриной и материнской крови измазал... Сам ревет, сам визжит, а руку целует, словно отцу родному, кото-

рый его, Степку, высечь хочет!.. И вымолил-таки свою, Степкину, жизнь!.. По его указаниям и нашли убийцу.

Старый прокурор почему-то приостановился.

– А когда мы этого Степку опрашивали, видно было, что это Степке даром не прошло... Не дешево стало!.. Привели нам мальчугана, худого, как спичка, с большой головой, на которой все волосы оборваны и дыбом торчат. Глаза у него огромные, дикие и все время моргают. Моргают и в то же время лезут из орбит, а язык, как в пляске святого Витта, сам собою изо рта выскакивает... точно у лягушки!.. И страшно, знаете; и жалко, и противно было смотреть. Лучше бы уж он его в самом деле зарезал! А то, что... не человек стал, а так, какая-то корча...

Кое-как произвели мы допрос. Всю душу ему вытянули, во второй раз заставили все переживать, а таки допросили...

– Ну, зачем же?.. – болезненно поморщился следователь.

Старый прокурор злобно огрызнулся.

– Как зачем?.. А убийцу поймать надо?.. Чтобы правосудие восторжествовало!.. Вы как полагаете?.. Ведь Степка единственным свидетелем был, а были подозрения, что убийца из того же села и Степке известен должен быть. Следовательно?

Веригин замолчал, но прокурор еще долго и ехидно ждал ответа.

– Да. Так вот... Мамке, говорит, голову как отрезал, голова-то покатила, а мамка без головы, на четвереньках, как

жаба, по хате прыг, прыг. А кровь из дыры так и рвет... Я спужался мамки да на печь, а Танька на лавке привалилась и молчит... А потом, смотрю, он на Таньку навалился... Мне ее и не видать вовсе... А потом Танька как взвоят, а он кричит: «Молчи, убью». Да и зачал Таньку ножом!.. А я в те поры на стену прыгаю, головой об стену стучу да кричу... Мамка без головы лежит, а голова из-под стола смотрит... на меня!

И в это время, понимаете, как закричит, да в самом деле назад, на стену... Кое-как его удержали. Он все рвался, кричал и руки целовал и кусал в одно и то же время...

Убийцу, конечно, поймали. Месяца через три я был уже назначен товарищем прокурора, и как раз пришлось мне присутствовать при казни этого самого убийцы... У нас тогда было военное положение.

Я не буду описывать свои ощущения, когда узнал о назначении на место казни... Тяжело, стыдно, страшно и почему-то холодно, вот и все, что можно сказать. Но при всем том могу вам сказать, что если бы этот самый убийца попался мне там, в хате, или хотя бы на другой день, я бы его убил на месте, как собаку!.. И, может быть, даже так же зверски, как он сам!.. Я знал потом, что его уже нашли, что его приговорили к смертной казни, и когда приходилось говорить об этом среди знакомых, а говорить приходилось много, потому что это была первая казнь в нашем городе, то я всегда, несмотря на охи и протесты молодежи, даже с каким-то сла-

дострастием повторял: «Так ему подлецу и надо! Я б его четвертовал, а не то что повесил!»

И ведь действительно!.. Ну, скажите, на кой черт надо было щадить его? Кому было нужно, чтобы не умирал, а остался жить суший зверь, готовый за копейку, для удовлетворения малейшего инстинкта на всякое злодейство, на всякую грязь, на все!.. Вы скажете – каторга?.. Да разве каторга кого-нибудь исправляла?.. Нет!.. Так что же за смысл, чтобы эта гадость сидела в каком-нибудь закрытом помещении, а сотни народа его кормили, одевали и сторожили?.. В существовании его ровно никому ничего приятного не было, а гадости и грязи с ним было сколько угодно!.. И логика стояла за то, чтобы его вычеркнули!.. И думаю, что если бы я его, поймав, так сказать, на месте преступления, убил, то ни раскаяния, ни даже особого нравственного потрясения не испытал бы!.. Даже, напротив, испытал бы чувство удовлетворения, ибо дал бы широкий исход той злобе и отвращению, которые он во мне возбудил своим безудержным омерзительным зверством.

А между тем, когда я узнал, что именно мне придется присутствовать при его казни, я прямо обомлел и дня три ходил как придавленный! Сразу забыл, кто, что и почему, и увидел только одно: что это ужас, что это убийство, и я буду принимать в этом убийстве участие!..

И вот ночью за несколько часов до казни я и другие, кому надлежало по закону присутствовать при церемонии удуше-

ния, явились в тюрьму.

Почему-то все были уверены, что он спит... Как-то так, вероятно по художественным произведениям, у всех составилось такое представление, будто приговоренные к смерти в последнюю ночь крепко спят... А кой черт тут заснет, когда я сам перед этим плохо спал и все в холодном поту просыпался...

Никто, конечно, не знал, что и как следует делать, и оттого произошло много бестолковщины... Все ходили как потерянные и томились в предсмертной жизни... Сам зритель тюрьмы больше всех и растерялся. Он даже велел за чем-то, чтобы в тот коридор никто не входил, и стоял там только один часовой солдат Пензенского полка... как сейчас помню... От всех тяжелых впечатлений этого ожидания я запомнил только, что зритель все время то выходил, то входил и со вздохами, точно старая баба, на часы смотрел... Часы были серебряные... Да, помню, как провели на двор палача. Знаете, я представлял себе палача как угодно, но только не таким, каким оказался этот... Вообразите себе совершенно опереточную фигуру, в черном домино и черных перчатках, в какой-то нелепой маске, из прорезов которой смотрят непонятные красные глаза, а из-под которой видна куцая серая бороденка... Говорили потом, будто это был какой-то учитель гимназии, но это, конечно, вздор... А прошел он свободно и легко, даже поклонился, и всем стало страшно, чтобы руки не подал... А ведь мог подать!.. Поче-

му нет? Он будет веревку мылить и петлю затягивать, а мы сделали все, что могли, лишь бы ему в этом никто не помешал, и человек от петли и мыла не ушел.

И вот на рассвете, бледные, растерянные, замирая от страха, на подгибающихся от какой-то противной хлипкой слабости ногах, вышли мы из конторы и стали красться через всю тюрьму... Впереди шел на цыпочках начальник тюрьмы, за ним жандармский офицер, за ним я, а за мной крался маленький черный попик, почему-то приседавший на каждом шагу. Тишина в тюрьме была страшная. День казни удалось сохранить в тайне, и все спали. Но все-таки, когда мы гуськом прокрадывались мимо дверных окошечек, пот выступал по всему телу. Мы знали, что если нас заметят, то вся тюрьма поднимется на ноги, бросится к окнам и начнет стучать, бить стекла, свистать, орать, осыпать нас бранью и оскорблениями... плевками, если можно!.. И нам придется бежать сквозь строй такого озлобления и презрения, что лучше б нас голяком метлами через весь город прогнали... И ведь в глубине души мы прекрасно понимали, что это будет совершенно заслуженно, потому что хуже того, что мы делаем, уж ничего себе даже и представить нельзя. Но, слава Богу... – с недоброй усмешкой вставил прокурор, – хоть и обливаясь потом, озираясь по сторонам и чуть не падая от слабости под коленками, а добрались мы благополучно. Но в коридоре, где была его камера, ждало нас нечто совсем непредвиденное...

Прежде всего кинулся нам в глаза пустой, чересчур ярко

освещенный коридор, а потом удивительно странная фигура солдата часового... Был это, я и сейчас помню, тщедушный, малорослый солдат с совершенно белыми бровями и ресницами. Стоять-то в коридоре стоял, но как стоял! Прижавшись спиной к стене, точно стараясь влипнуть в нее всем телом, с ружьем наперевес по направлению к его камере и неестественно вывернув туда же и голову... Такого стихийного ужаса я никогда не видел! Сразу понятно было, что нервы у человека напряжены до крайних пределов, что достаточно было бы какого-нибудь случайного крика, свиста или движения, чтобы рушилась непрочная преграда между разумом и безумием и солдат взвыл бы нечеловеческим голосом, кинулся бы на стену, стал палить в кого попало... Стоит, понимаете, и не шевелится, как будто его тут и нет, только белесые глаза косятся вдоль стены...

Кто-то даже фыркнул было при виде такой фигуры, но сейчас же и сорвался, потому что в эту же минуту мы увидели его.

То есть даже не его, а только его голову.

Из узкого окошечка двери, очевидно, просунутая туда со страшным усилием, торчала совершенно неподвижная мертвая, восковая голова... Была она до странности желтая, и выражения. На этом лице человеческого ровно никакого не примечалось... Это была мертвая голова, и на мертвом лице два огромные мертвые глаза, выпученные до того, что видны были все жилы и нервы, от страшного напряжения налитые

кровью... Они чуть-чуть двигались, непрерывным круговым движением, внимательно и упорно стараясь видеть все сразу. Они выпучились в нашу сторону и, мне показалось, еще больше вылезли из орбит. Но по-прежнему никакого выражения в них не было... разве если бы мертвец, два дня пролежавший в гробу, мог испугаться, он так смотрел бы!

Мы все разом остановились. Кто-то ахнул, кто-то наступил мне на ногу, и чуть-чуть мы не бросились бежать по лестнице, толкаясь, как стадо баранов... Но вместо того вдруг страшная злоба, потрясая все тело мучительной дрожью, овладела всеми. Захотелось, чтобы эта голова спряталась, или закричала, или гримасничала, что ли, но только чтобы она не смотрела так!.. И вместо того, чтобы: бежать, мы кинулись к двери, и начальник тюрьмы первый заорал во всю глотку: «Ну, ну, ну... ты!»

Но ужас был в том, что и после нашего стремительного движения, после этого злобного крика голова не пошевелилась. Она только тихонько повернула свои страшные глаза к нам и опять замерла. И как-то так случилось, что я очутился впереди всех, и прямо перед моим лицом, так близко, что мне видны были даже ресницы и кровяные жилки в белках, оказалась мертвая голова. Она показалась мне огромной... И вдруг я ясно увидел, как вытянулись из орбит, налитых кровью, два громадные глаза, придвинулись ко мне, вошли в мои глаза и пристально взглянули в самый мозг...

Тут сделался со мной истерический припадок, после ко-

торого я два месяца пробыл в больнице, а когда поправился – немедленно подал в отставку.

Солдат часовой потом рассказывал, что голова показалась еще в сумерки. Она осторожно выдвинулась, посмотрела, спряталась, со страшным усилием протиснулась в форточку и замерла. И так торчала целую ночь. Сначала он кричал на нее, грозил, пугал штыком, а потом ослаб...

Убийца был роста небольшого и для того, чтобы достать до форточки, должен был стоять на цыпочках, а форточка была так мала, что когда ее вытаскивали, то ободрали всю кожу на ушах и челюстях. И так стоял он и смотрел всю ночь, очевидно, стараясь вобрать в себя всякую мелочь – свет, воющую лампу, солдата с ружьем... все, – чтобы не забыть, насмотреться в эти последние часы жизни, которую отнимали у него навсегда.

Интересно знать, вспоминал ли он о своих жертвах, о зарезанной им самой бабе и о замученной Таньке?.. Не думаю!.. Своя жизнь дороже всего! И когда ее отнимают, все остальное должно казаться бесконечно ничтожным. Разве он мог думать, что его ждет достойное возмездие?.. Если и вспоминал, то, вероятно, со страшным озлоблением: из такой дряни, мол, погибаю!.. И если бы он мог, вероятно, опять бы убил их и еще с большим остервенением, с такой уже утонченной жестокостью, с таким сладострастием, что весь мир ужаснулся бы... и именно за то, что из-за этакой пако-сти ему такую муку приходится терпеть.

Да что говорить! Мне потом рассказывали, что уже перед самой смертью он вдруг как бы совсем успокоился, твердо прошел под виселицу, сам стал на табурет и стоял смиренно, пока прилаживали на нем саван и веревку... Только бормотал про себя:

– Скорей, скорей, скорей...

Бормотал, очевидно, для самого себя, страшно торопливо, едва успевая выговаривать и все ускоряя и ускоряя темп до того, что под конец уже ничего и разобрать было нельзя. А когда его сняли и палач содрал саван, оказалось, что он совершенно седой. Он посидел в эти две-три минуты, пока стоял под саваном, уже ничего не видя и только чувствуя, как вокруг его шеи копошатся цепкие пальцы палача.

Старый прокурор дрожащей рукой налил себе стакан вина и выпил, облив весь подбородок. Следователь напряженно смотрел на него, и жутко представлялись Веригину эти невидимые пальцы, как будто совершенно самостоятельно, подобно каким-то злым паукам, шевелящиеся вокруг шеи живого, связанного, уже ничего не видящего человека, который в предсмертной муке может уже только повторять одно слово: «Скорей, скорей...»

– Да, дорогой мой, – заговорил опять старый прокурор, и в голосе его зазвучала непривычная мягкость, – это трудно рассказать так, как чувствуется, и, может быть, именно поэтому все еще не могут понять во всем ужасе, что такое смертная казнь. Всего злодейства этого утонченного, медли-

тельного, прежде чем тело, убивающего по частям всю душу, хладнокровного убийства никто представить себе не может!.. Даже участники этой драмы не могут почувствовать в себе злодеев!.. Ведь это что... одни ловят убийцу, другие стерегут, чтобы он не убежал, третьи судят и приговаривают, какой-нибудь генерал подтверждает приговор, а убивает, вешает палач!.. И на этого палача, какого-нибудь кретина, полуживотное, свален весь ужас злодейства!.. И я думаю, что если бы не было этой передачи злодейства по частям, из рук в руки, если бы подтверждающий генерал сам должен был бы и веревку затянуть, судьи сами бы саван натягивали, а законодатели собственными руками держали бы отбивающегося от смерти человека, то никакой смертной казни и вовсе не было бы!.. Иначе это значило бы, что весь мир наполнен злодеями, а это что же?! Секрет весь в том и заключается, что при существующем порядке злодеев нет: те, кто ловят, те, которые приговаривают, – те казни не видят, живых людей не дают и думают, что это не от них зависит, а они только исполняют свой долг... Может, иные даже прилив гражданской гордости при сем испытывают. И когда подписавший смертный приговор человеку генерал войдет к своим детям, к своей жене, то они не отшатнутся от него в ужасе и гадливом презрении, а напротив, еще пожалеют его... Бедный, мол, как тебе было тяжело!

– Нет, это не так должно быть! – взвизгнул старый прокурор. – Ты так делай: ловишь убийцу, не даешь ему уйти

от смерти, значит, считаешь это необходимым, ну, и казни!.. Судишь и к смертной казни приговариваешь?.. Значит, веришь в святую правду своих законов, ну, и исполняй их сам! Подписываешь приговор, так не подписывай, а прямо иди, как есть, в своем генеральском мундире, мыль веревку и дави!.. И тогда ты будешь прав, ибо если ты сам убил, так или тебе непонятен ужас смертной казни и ты сам по природе своей – злодей, или ты свято веришь в правоту этого удушения!

– Но как же быть? – тихо спросил следователь, беспомощно разводя руками. – Кто-нибудь же да должен взять на себя суд и охрану общества...

– Должен? – переспросил старый прокурор. – Никто не должен... А если хотите, я вот что...

Он немного помолчал, не то собираясь с мыслями, не то чего-то не решаясь.

– Что? – невольно придвигаясь, спросил следователь.

– Вот что... я... не знаю. Но могу рассказать вам одну сказку... Для меня лично скрыт в ней огромный смысл... Скажем так: в одном городе в очень давние, конечно, времена, такие давние, что их и совсем даже не было, жили очень счастливые и добрые люди... И город у них был такой стрельчатый, и небо голубое, и деревянные башмаки носили они с достоинством, и никаких краж, убийств и прочего у них не бывало никогда. А вся власть их законодательная воплощалась в старом седовласом бургомистре, в справед-

ливость которого верили они не меньше, чем в свое голубое небо и деревянные башмаки. Жили себе и жили, и вдруг – случилось убийство!.. Одну красивую молодую девушку, ходившую всегда с голубой ленточкой в косе, нашли на заре изнасилованную и удушенную той же голубой лентой. Узнали и кто решился на такое злодейство: это был толстый парень, сын местного трактирщика, оболтус с глупой красной рожей и золотыми пуговками на красном жилете. Его схватили и привели к бургомистру. Весь город точно с ума сошел: женщины выли, мужчины теряли свои деревянные башмаки, самые уважаемые граждане прибежали в одних кальсонах и бумажных колпаках... и никто не знал, что им делать... Никогда в жизни им в голову не приходило, что возможно взять живого человека и задушить его... да еще такую милую, красивую, всеми любимую, никому не сказавшую ни одного дурного слова девушку!.. И хуже всего было то, что убийца сам обалдел больше всех и стоял, глупо ухмыляясь и ревя в три ручья. Он и сам не знал, как это вышло. Девушка ему давно нравилась, он дарил ей ленточки, бусы, ухмылялся при встрече и толкал локтем, а она смеялась над ним и ленточек не брала. В эту ночь он встретил ее за огородами, хотел обнять, она его оттолкнула. Тогда он стал целовать насильно и вдруг почувствовал такое звериное неудержимое желание, что повалил и изнасиловал, а когда она стала кричать, испугался так, что сначала старался заткнуть ей рот, а потом озверел от ужаса и задушил совсем! Теперь он совер-

шенно не знал, что делать дальше, и не понимал, что будут делать с ним.

Целую ночь уважаемые граждане сидели в городском доме и обсуждали как поступить. И, наконец, один выкопал знаменитое изречение в библии «око за око, зуб за зуб!». Но когда бургомистр растолковал им, что это значит, будто и рыжего малого надо удушить, то многие даже рассмеялись. Как же, мол, так! Кто же душить-то будет!..

И вот наконец настал день суда.

Все жители города в праздничных одеждах собрались к дому бургомистра и стояли молча; с ужасом и удивлением смотря на рыжего парня, который надел свой лучший жилет с золотыми пуговками и стоял у крыльца, озираясь на толпу и засунув пальцы за обоймы своих вышитых помочей. Вид у него был гордый! Может быть, ему даже льстило, что ради него собралась такая уйма народу, но сверх того дело было еще в том, что он слышал, сидя под окном бургомистрова дома, как совещались именитые граждане, и знал, к каким результатам они пришли.

– Злодей, самого удушить тебя надо! – крикнул ему из толпы старичок аптекарь, тот самый, который нашел текст в библии.

– Ну, и души! – нагло ответил рыжий парень и засмеялся, видя всю нелепость такого предположения.

Старичок аптекарь сердито сдвинул колпак на лоб и отошел.

И вот вышел на крыльцо старый седой бургомистр.

– Граждане, – сказал он с глубокою скорбью, – произошло нечто такое, чего мы не видели никогда. Ужасное и непоправимое преступление!.. Что делать?..

Народ безмолвствовал. А теперь ухмылялся с явной насмешкой.

– Слушай, – сказал старый бургомистр, и голос его зазвучал грозно, – ты – убийца и злодей!.. Ты нам не брат, иди от нас!.. Иди, куда хочешь и никогда не приходи к нам, чтобы нам не видеть твоего лица, на котором лежит печать Каина!

Толстый парень побледнел. Из этого города никто никогда не уходил никуда, и самая мысль об этом была всем чудна и страшна. Сначала он испугался, но одно преступление уже пробуждает и закаляет злую волю. За ночь ожидания наказания рыжий парень уже стал настоящим преступником, наглым и хитрым.

– Да как не так! – ухмыляясь, ответил он. – Никуда я не пойду.

Народ ахнул, а старичок аптекарь сорвал с себя колпак и швырнул его наземь.

Один бургомистр не изменился в лице. Он выступил еще больше вперед и сказал:

– Хорошо, оставайся. Живи с нами... Но ты убил и теперь ты не такой, как другие. Ты доказал, что чужая жизнь, чья бы она ни была, для тебя ничто, что ты можешь отнять ее. Предоставь же и нам право не считать и твою жизнь такою

драгоценностью, какую мы считали ее раньше...

– Как вам угодно! – нагло ответил парень, подбочениваясь.

– И если ты будешь тонуть, заболеешь, будешь умирать с голоду и никто не поможет тебе, мы не будем обвинять его.

– Проживу и сам! – огрызнулся парень, побледнев, однако.

– Хорошо. Живи!.. Но... если есть среди нас такой человек, сердце которого не может перенести ужаса твоего преступления, которому тяжело жить под одним небом со злодеем, пусть он убьет тебя, как ты убил!

Наступило молчание. Солнце светило, стрельчатый городок мирно покоился под голубым небом, народ, бледный и растерянный, молчал, а бледное седое лицо старого бургомистра смотрело торжественно и грозно.

Парень потерянно оглядывался по сторонам.

– Посмотрел бы я на такого человека! – наконец с трудом пробормотал он.

– Этот человек – я! – громко произнес старый бургомистр и, вытянув нож, вонзил его в горло толстого рыжего парня.

И когда тот захлебнулся в крови на глазах потерянного народа, старик бросил нож и сказал:

– Граждане... Я всю ночь думал о том, что этот человек, злодей и убийца, будет жить среди нас, тогда как жертва его давно сгниет в земле. Она была так счастлива, могла жить долго, украшая и свою, и нашу жизни, а он взял и убил ее,

убил зверски, жестоко и безжалостно! И когда я представил себе, как молила она его, как рвалась и билась в тоске предсмертного ужаса, как он душил ее, перетягивая живое, бьющееся в муках смерти тело и видя, как живые человеческие глаза постепенно подергиваются пеленой агонии, — я почувствовал, что не могу жить вместе с ним, что призрак убитой вечно будет стоять у меня перед глазами, и я всегда буду помнить, что в моей жизни был день, когда вся кровь сердца оледенела во мне, а я... ничего не сделал. И вот я убил...

Я не чувствую ни раскаяния, ни сожаления, ни страха... Но я теперь тоже убийца, и если есть среди вас хоть один человек, которому тяжело смотреть на меня, пусть он убьет меня, как я убил...

Долго и долго было молчание. С грустью смотрел народ на своего старого бургомистра, но ни в одном сердце не шевельнулась мысль о его смерти. За то, что он перенес такую муку, за то, что сердце его не перенесло злодейства и он решил убить и умереть, только еще больше разгорелись к нему любовь и уважение. На труп рыжего парня смотрели с ужасом, но без жалости, и народ стал тихо расходиться.

Дольше всех оставался отец рыжего парня. Он все озирался по сторонам, и правая рука его была судорожно сжата за пазухой. Старый бургомистр спокойно и грустно смотрел на него сверху и ждал. Уже трактирщик шагнул вперед, но оглянулся назад, увидел кучку граждан, следящих за ним издали, побледнел от страха и злости, согнулся и бросился бежать.

Тогда старый бургомистр светло улыбнулся и сказал:

– Правосудие свершилось!..

И ушел в свой дом.

– А, впрочем, все это ерунда, – перебил сам себя старый прокурор с озлоблением, – никакого правосудия нет, никакой справедливости нет, а просто... а просто я пьян!

Он тихо засмеялся и потянул к себе бутылку.

– Я скажу только одно, что мудрость человеческая идет по кругу и вновь, и вновь приходит на то место, где она уже давно была!..

Следователь долго задумчиво смотрел на старого прокурора, и в голове его двигались смутные большие думы, а в сердце росло трогательное уважение к этому старому чудаку, пьянице и цинику, который не перенес людского страдания и ушел от жизни, чтобы умереть здесь, в забытой усадьбе, никому не нужный и всеми оставленный.

А когда он ехал домой ночью по глухой бездорожной степи, на краю которой тихо и страшно гасло красное зарево ушедшего в черную землю месяца, следователь чувствовал себя скверно и тяжело. Вся жизнь представлялась ему сплошной бессмыслицей, и чувствовал он глубочайшее отвращение к своему делу, к судам, к прокурорам, законам и разграфленным правам человеческим.

Под утро он задремал, и приснилось ему, что по обе стороны дороги в полном мраке, светясь таинственным, как бы исходящим изнутри светом, стояли две огромные отрезан-

ные головы с желтыми неподвижными лицами и страшными, в душу смотрящими глазами. Одна голова была убитой бабы, другая – ее повешенного убийцы. И Веригину надо было проехать между ними, и было это так страшно и трудно, что он проснулся совсем больной, весь в поту, дрожа мелкой изнурительной дрожью.

А новый день жизни занимался, и степь серела бледненьким, синеньким светом дождливого осеннего утра.